

# Алексей Иванов

## Тридцатилетние

Остановливаясь у книжного прилавка, думаешь подчас: «Не в бедственном ли положении находится теперь наша литература?» В мировой литературе было три периода ее наивысшего подъема: литература античности, литература Возрождения и русская литература XIX вена. В чем же беда? Почему несколько лет назад «Новый мир» выходил миллионными тиражами, а сейчас у него хватает сил едва на 25 тысяч? То же происходит с другими журналами академического направления. Спад продолжается уже долгое время, и теперь русская литература пребывает точно в оцепенении. К ней нет прежнего интереса, потому что, кажется, в ней нет гения. Его нет — и, точно все лежит вповалку, но появись он, тут же возникнет иерархия, система, каждый займет место, положенное ему, образуется духовная структура, аура,— заработает весь механизм, и тогда литература наша снова станет «русской» и вернет себе былую грозность. Тогда и деньги появятся у журналов, и спонсоры, вырастет тираж и вернется молодежь в редакции. Кто им будет? Тридцатилетний человек? Почему именно тридцатилетний? Это возраст, никогда человеку жить труднее всего: все его природные, человеческие силы ищут точку опоры для выхода — это время мыслителя, расцвет для прозаика; время, когда писатель создаст свои лучшие произведения. Если судить по судьбе Анатолия Кима, который примерно в этом возрасте писал «Луковое поле», по судьбе Саши Соколова («Школа для дураков»), то видно,— это самый плодотворный период, лучше уже не напишешь. Быть может, тот, кого мы ищем, имеет способность не выдохнуться на первом, пускай гениальном, произведении, а написать такое же по силе, а затем — написать еще. Вот уже два его признака, второй — бесспорный.

С чем прежде всего приходится сталкиваться молодому писателю на валтасаровом пиру, по выражению Павла Басинского, московской литературы, да и не только московской? Молодой писатель зачастую таким «идиотусом» приходит сюда, не от мира сего, у «идиотуса» слава богу, хватает дерзости считать все вокруг старьем, не заслуживающим внимания, и он поначалу не относит себя к числу участников оргии. Им начинают «заниматься», причем все, как в плохом спектакле: им «занимаются», а оргия продолжается. Он же смотрит и видит. Что же? Есть на чем задержать внимание. Журналы создают **литера-**

**турный балласт** (термин не мой, а В.Г. Белинского). Чтобы все было уравновешено: и бездари, и таланты, все, как в природе. Балласт нужен, чтобы функционировали журналы, чтобы было чем заполнить место. Балласт нужен мэтрам-писателям, чтобы на его фоне выделяться, и с его помощью противостоять натиску молодого поколения. Обычно делается так: подбирают людей с особым письмом: бесцветно, без искры божией, в нем не взбунтуется художник, главное, чтоб много, грамотно и претенциозно, затем объявляется: «Вот — событие!». Есть свои мастера у станка, с навсегда застывшей обидой на лице, есть чернорабочие, вламывающие, как сволочи, и глотающие слезы, есть однофамильцы, даже очень много; антисемитов предостаточно, а филосемитов еще больше; есть и хулиганы на поруках,— кого только нет. У всякого свой прием, как у тех китайских мартышек, которые, когда качнешь: одна ушки прикрывает, другая глазки, третья носик. А, в общем это очень напоминает Гомеров ад, где у каждого свое занятие, которое приносит ему мучение. Все, как в обычной замкнутой системе, замкнутой и довольно унылой, несмотря на некоторые вакхические заздравные.

Томас Гоббс сказал как-то, что жизнь — это война всех против всех, и к литературной среде это относится больше всего. И в этом океане зубоскальства придется кипятиться до конца дней? Что за ад для писателя при жизни? А когда он уйдет в мир иной — еще хуже его душе. Мучают его изощренно. В аду писателя варят вместе с героями его же литературных произведений. И даже имени его нет ни места, ни покоя. Как-то я спросил одного человека: «Кто такой Фонвизин?» И он ответил, точно приговорил: «Это тот, о котором написали, или тот, который сам писал» — все едино в памяти потомков.

Нас встретили на пороге словами: «Если вы решились прийти сюда, знайте, что вашу жизнь вы уже проиграли». Вы думаете, не было тех, кто опомнился? Были, и они сейчас дорожат своей жизнью. Мы же начинаем понемногу печататься, и перво-наперво молодого писателя пытаются «унасекомить» и вписывают имя его в выдуманный критиком какой-то литературный процесс, и критик этот не желает признаться даже самому себе, что «процесс» не что иное, как порождение полюбившейся ему мысли.

Какая критика сейчас? Да все та же: методы ее не изменились со времен Белинского и Чернышевского, задачи ее — находить в литературе процессы, тенденции. Все правильно, но зачем же уж так по-гегельянски «постигать» любые движения! В последнее время жизнь усложнилась, в хаосе звуков невозможно различить общенаправленности, литература потеряла равновесие. А. Блок в 1919 году в статье «Крушение гуманизма» говорил: «Эпохи, когда такое равновесие не нарушается, я назвал бы культурными эпохами — в противоположность другим, когда целостное восприятие мира

становится непосильным для носителей старой культуры вследствие прилива новых звуков, вследствие переполнения слуха доселе незнакомыми созвучиями».

Не все из критиков являются «носителями старой культуры» — в нашем случае, культуры тоталитаризма, — но каждому нужно сейчас быть вдесятеро сильнее вниманием, чтобы разобраться в сложных явлениях нынешней литературы, тем более, когда речь идет о новом поколении писателей.

О них пишут, но в действительности сейчас никто не рискнет назвать появление кого-либо из них литературным событием (уже говорилось выше, для каких случаев такое определение приберегают). Все правильно: нельзя судить по первой публикации, поэтому критик, когда откликается, то старается тут же и унасекомить невиданное еще явление, а когда унасекомляемые, если их несколько, к тому же из Литературного института, то уж очень велико искушение подвести всех под один знаменатель, и как следствие того, — включив в явление, обезличить. К примеру: М. Шарапова, Н. Горлова, В. Былинский и т.д. — подвести под общий знаменатель: учащиеся Литинститута — получается при сокращении «литинститутская литература» или «творчество студентов Литературного института». Гневается Олег Павлов, что причислили к «университетской литературе»\*, потому что закончил Литинститут год назад. Появляется где-нибудь рассказ молодого писателя — пишут: студент Литинститута (чтобы сразу подстраховаться), учится на семинаре поэзии у Рейна (дай бог ему здоровья. К примеру), да еще поместят в какой-нибудь рубрике: «Голоса молодых» или, того хуже, «Двадцатилетние». А «двадцатилетнему» тридцать пять, отслужил в армии, отсидел в тюрьме, трое детей, пять неизданных романов. Подтекст всей этой рамки в цветах такой: давайте сразу оговоримся, что это несерьезно, учатся, понимаешь, нельзя ж не осветить, тем более, видишь, уважаемый читатель, заслуга-то Рейна, — таким вот образом, с предварительными «извиненьями-с», перепутав имена, фамилии, семинары, печатают, даже не сообщив о верстке. Так и выходит эта литература, как бы ученическая, то есть написанная в процессе обучения, поэтому ценности не представляющая. Потому студенты Литературного института и умоляют редакторов печатать без упоминания о том, что они учащиеся, не включать ни в какое движение, никуда не относить: ни к «двадцатилетним», ни к «университетской литературе». Да если бы хоть и на самом деле был такой грех стремиться в какое-то литературное объединение, типа «Серая лошадь» или «Верба волянт», или же того хуже — в «Куртуазные маньеристы», — так ведь нет же такого греха. Наоборот, как отмечала Алла Марченко в своей статье «Рассказ в отсутствие романа» в № 12 «Нового мира» за 1995 год: "...молодые писатели дистанцируются друг от друга».

Единственно, что нас может объединять, это то, что принадлежим к одному поколению — поколению тридцатилетних. Да еще, правда, есть здесь одна объединяющая сила — московская среда: городская языковая, университетская, газетно-журнальная среда.

В № 49 «ЛР» за 1995 год В. Славецкий напечатал статью «Новые авторы «Нового мира», где пишет: «Многие успели поработать, кто-то побывал в Афганистане, средний возраст — ниже тридцати». Нет, я бы сказал — тридцатилетние и за тридцать. К тому же почему «третьекурсники»? (Так он называет это поколение). Не вяжется, неудачно это называть наше поколение «третьекурсники». Третьекурснику девятнадцать лет, это юноша, а никак не тридцатилетний человек.

Да, мы «засели» здесь, великовозрастные, в этом институте, потому что нету больше места, где можно уязвимому уставшему человеку отдышаться, отхрипеться. Пять лет жизни в институте бок о бок со своим товарищем по перу — это все-таки пять лет жизни. А дальше что? Сбегай бодро с крыльца, вот что. Я видел где-то такой газетный снимок: выпускники Литературного института бодро сбегают с крыльца, причем все заснято как бы в полете: с коленками, с пиджаком на плече. Мы все заблуждаемся по поводу фотографов: у них есть свой злой мирок, ведь прекрасно же понимал он, что это все жестоко, да еще называть фотографию типа: «Здравствуй, молодость!» — что-то там такое было. Как про себя подумаешь, что ты вот так же будешь сбегать с крыльца, напряженно улыбаясь, так и начинаешь ненавидеть всех фотографов. Да мы здесь, потому что: общежитие, стипендия, бесплатное питание, единый проездной, ну и, конечно,— среда, что еще нужно. В. Славецкий говорит об отсутствии жизненного опыта. Да я бы не сказал. Мы поступали сюда двадцатисемилетними, каждый с уже давно приобретенной творческой доминантой. Ведь что сейчас печатают в «Новом мире» у В. Березина, В. Былинского? То, что написано на первом курсе, чуть ли не вступительные работы. Мы поступали сюда, потому что нам не хватало друг друга, камерности, но не для того, чтобы совместно творить, пускай этим занимаются в театре, что, кстати, и является характерным признаком объединения, а еще, быть может, для того, чтобы выпить вместе. Помню, когда пришли первого сентября, на крыльце стоял ректор и приветствовал нас. Он говорил, а ветер развеивал седую прядь волос. Он говорил, что Литинститут это непотопляемая субмарина и рубил ладонью воздух — какая хорошая мысль! Да, и было похоже, что он стоит на капитанском мостике. Затем распахнул дверь, а субмарина начала свое погружение. И вот плывем уже три с половиной года, и готов плыть хоть всю жизнь. Не случайно потом многие поступают в аспирантуру. Я думаю, те, кто сейчас лучше всех пробивает себе дорогу в литературе,— это тридцатилетние писатели из Литинститута. Я не говорю, как в расхожем анекдоте, что русскому писателю нужно дерево посадить, в армии отслужить и в тюрьме отсидеть, но уверен, что, как

тяжелая атлетика спорт для зрелых мужчин, так и литература, особенно проза, для зрелых людей.

Возвращаясь к вышесказанному, замечу: дело не только в непонимании, а в иронии, которой прониклась к молодому поколению сейчас наша критика. Точно писатель не жизнь пришел положить на алтарь искусства, а в баню вбежал. Ирония не свойственна ни русскому человеку, ни русской литературе. Мы захлебнулись в собственной иронии, именно в иронии, а не в цинизме. Все, что ни произносится, насыщено ею: в газетах, на телевидении. Правилom хорошего тона стало иронизирование. Обратиться на улице к кому-то спросить, как пройти на такую-то улицу, нельзя без иронии, чтобы не испугать. Ирония это флирт с судьбой, а самым страшно: сами несчастны; и мы, вытирая шутовские слезы, иронизируем. На моих глазах вор вырвал у женщины сумку — первая ее реакция была — она зло улыбнулась. Я просто заболела, когда нахожусь в среде так называемого «простого народа», мучаюсь, потею, парюсь в их ироничном мате. Мыслить иначе нельзя, раскрыть рот, чтобы не сказать то, что от тебя ожидают, — нельзя. Точно сама пошлость смотрит свинными воспаленными глазками насмешливо — и гипнотизирует. Хотя, кажется, мы начинаем понимать весь яд такого речевого сознания, и даже самые герои из нас хотят не сатанизма, а простоты, пускай даже трагической. А ведь пропала трагичность, космизм; пропало трагическое, гётевское мирозерцание, отсюда и свинные глазки. А. Блок писал: «Трагическое мирозерцание одно способно дать нам ключ к пониманию сложности мира». Нужно остановиться, успокоиться и понять, что все, что происходит вокруг, громаднее, неповторимее, чем мы его осознаем.

Сейчас спрашивают: «А нужен ли писателю Литературный институт? Можно ли научить писать?» Но писателю нужно образование. Да и М. Горький, создавая в 1933 году это учреждение, конечно, не думал о том, что здесь можно будет неграмотного рабочего научить писать. Тогда смотрели проще: молодые, способные, но невежественные писатели вполне могли «воспитаться и обучиться» за счет государства. Так и сейчас. Мне скажут: «Ну, пусть бы получали филологическое образование в университете или еще где-нибудь». Но если человек знает про себя, что он писатель, зачем ему учиться, к примеру, среди педагогов, и в Литературном институте он учится среди себе подобных. У каждого человека должно быть место, где бы он мог побыть самим собой, где бы его странности не удивляли. Литературный институт место, где странности не осуждают, откуда они даже выходят в свет, где даже гардеробщицы не крутят пальцем у виска. А зайдите в консерваторию: тут вы увидите, как просто поют в коридорах во весь голос, идя в столовую, спускаясь по лестнице. Творческая личность не должна скрывать своего поведения. Не станет института имени Горького — катастрофа.

Образование писателю необходимо для того, чтобы увидеть мир

объемно, дифференцированно, чтобы понять свое место в истории, вообразить за своей спиной сотни поколений предков вплоть до Адама и Евы. Мне нравится учиться; нравится учиться в одном из самых прекрасных в Европе университетов. Я люблю свою цивилизацию и не понимаю тех, кто тычет пальцем на Восток и говорит, что мы ушли от гармонии, что не воспринимаем ничего наивно, не ощущаем естественно. Я преклоняюсь перед Лао Цзы, но Москва моя ойкумена, христианство моя вера, и медитирую я прекрасно, когда в летний полдень сижу на лавке, в заросшем шиповником, диком саду, где-то под стенами Донского монастыря, и читаю какого-нибудь разночинца.

Среди тех писателей из молодого поколения, которых я называл, много москвичей. В. Славецкий в статье «Прорыв дебютантов» (ЛУ № 2) пишет: «... «плодородное Подстепье», где «образовался богатейший русский язык» и откуда «вышли чуть ли не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым» (Бунин). Совершенно оба правы: и Бунин и Славецкий, только хотелось бы реплику еще и про Москву. Истоки русского языка и в Москве тоже. Пушкин родился в Москве, а Толстой, как известно, признавался в своем «ученичестве» перед ним. Зачем далеко ходить: прекрасный писатель был Юрий Казаков — москвич. В Москве находится Малый театр, в нескольких минутах ходьбы от Тверского бульвара, и я вырос на его спектаклях, и не принимаю никакое другое произношение, кроме как произношение и речь Малого театра. Когда москвичи в устной или письменной речи ошибаются, у них и ошибки-то одинаковые. И, не зная даже того, крестился в церкви, где крестился Пушкин. Я вырос в Москве: я знаю, где можно набрать яблок, груш, шампиньонов, в каком монастыре заброшенные кусты малины; знаю, как в Лефортовском пруду ловить карасей; знаком со всеми старыми деревьями в городе, знаю их раны, знаю стариков-тополей в Литературном институте задолго до того, как там начали преподавать самые заматеревшие сейчас профессора. Литинститут по праву мой. Я чувствую связь не только с историей города, но и с его языком, чувствую, что соединен, как пуповиной, с какими-то речевыми резервуарами, и речь проникает в меня через воздух и по праву рождения. И я уверен, мой город всегда поможет мне как писателю.

Москва литературный город. Здесь сосредоточены литературные силы, и провинция сама виновата, что создалось такое положение: любой, талантливый ли, нет ли, литератор стремится печататься в Москве; со всей России писатели шлют свои работы в столичные журналы. В своем городе публикуются — само собой, но еще и отправят в московские журналы и еженедельники все, что написал - и святое дело.

В 1995 году я участвовал в Совещании молодых писателей Москвы. Было шумно, скандально, митингово — об этом много говори-

лось. Через три месяца, в январе, был приглашен в Ярославль на Первое Всероссийское совещание молодых писателей,— одни и те же лица. Что говорить: С. Василенко отправила три автобуса с московскими литераторами, да еще человек сорок руководителей семинаров приехали на поезде позже. Мэтров и участников из других городов России было гораздо меньше: во всяком случае, все крупные писатели живут в Москве. Многих москвичей приняли на этом совещании в российскую писательскую организацию, хотя у Москвы есть свой писательский союз. И не хотели принимать поначалу их в свой, российский, но приняли все-таки, да еще сколько. Вывод напрашивается сам — эта новая организация — всего лишь часть московской. Есть, конечно, журнал «Нева» в Петербурге и прекрасная газета «Очарованный странник», называющая себя, и, вероятно, по праву «литературная газета русской провинции», ее ведет Б. Черных, в Ярославле, но никто никогда не мучился, встав перед выбором — печататься там или в «Новом мире».

Раз уж заговорил о ярославском совещании, ненадолго вернусь к вопросу об иронии. Не лучшим образом поступили создатели передачи о совещании в Ярославле: снимали застолья, нетрезвые разговоры,— напоминает любительскую съемку. Зачем последовали за нами журналисты? Как они интересно работали! Встретив на своем пути препятствие, которыми, впрочем, переполнена стезя их, в виде запертых дверей, ходили под балконами и подсчитывали в снегу пустые бутылки, чтобы написать потом, сколько писатели выпили — факт! И это живой интерес к молодому писателю? И это внимание? Вот и я сам горько иронизирую. Какие тут вопросы: зачем живем, старимся, страдаем?

Нужно говорить и задавать все те же древние вопросы. Писатель в этом похож на ребенка, который пристаёт к засыпающей матери. Нужно разговаривать с жизнью.

И не должен показаться праздным и простодушным вопрос о гении в России: необходим духовный лидер, который бы одним полотном, сочетанием звуков выразил немое, как всегда, коллективное бессознательное, побыстрее, пока наемные писатели не приписали людям нашего времени то мироощущение, которое вовсе и не было нашим; чтобы никто не кусал потом локти, как это было после последней большой войны, и не досадовал: «Не так, не так все это было. Эх, жалко, я писать не умею».

Но, по большому счету, дело даже не в отражении, воспроизведении и приговоре действительности, основных задачах литературы по Чернышевскому, а в том, что она, да и вообще творчество, призвана снимать страх перед жизнью, которой мы так напуганы, напуганы до смерти.

*Май 1996*

